

А. А. Тихомиров

## **Заслужить, оправдать и вернуть доверие партии: советское «я» в письмах во власть в ранней советской России<sup>1</sup>**

Одной из центральных задач утверждения советской власти большевиками являлся проект создания нового человека: с новым сознанием, новой душой и новым телом. За счет воспитания сознательности и воли он представлялся большевикам творцом истории: активным организатором исторического прогресса на пути к идеальному будущему — коммунизму. Октябрьская революция виделась поворотным пунктом истории, позволившим большевикам с приходом к власти поставить в центр своей политики формирование нового человека<sup>2</sup>. Сотворение идеальной субъективности должно было стать первым шагом на пути становления идеального социального порядка. Для достижения конечной цели большевики создали образцы для идентификации и контрольные инстанции мониторинга формирования «правильных» субъективностей.

В условиях революционных потрясений и стремительных социальных изменений миллионы людей были вынуждены искать ответы на экзистенциальные вопросы о том, кем они являются, как себя определяют через отношение к окружающему их миру, как распознают других, дифференцируя *своих* и *чужих*, и в зависимости от частных и общественных пространств повседневности<sup>3</sup>. В настоящей статье на примере писем во власть анализируется становление

**Тихомиров Алексей  
Александрович,**  
научный сотрудник,  
Университет им. Гёте  
(Франкфурт-на-Майне,  
Германия)

советской субъективности после захвата власти большевиками и то, как люди «пересотворяли» себя в советских личностей, с одной стороны, и как партия и государство проводили оценку «правильных» идентичностей через политику социальной инженерии — с другой<sup>4</sup>. Я анализирую письма населения во власть в качестве эго-документов, проливающих свет на активную роль акторов в самоформировании советской субъективности через самоусовершенствование автобиографии и обращение за помощью к влиятельным вождям<sup>5</sup>. Особое внимание я намерен уделить анализу категорий «доверия» и «недоверия» в процессах социального дисциплинирования, дифференцирования и установления неравенства. В то же время меня интересуют дискурсивные стратегии и социальные практики самоконструирования авторами писем репрезентаций надежности и достоверности, необходимых для завоевания «доверия партии» большевиков. В данном ключе исследование советской субъективности позволяет проследить генезис современного советского субъекта и понять его роль в формировании советского государства и общества, а также в функционировании советского господства и утверждении легитимности власти большевиков<sup>6</sup>.

Что означало в СССР быть «настоящим» советским человеком? Ответ на данный вопрос определялся через вердикт доверия и недоверия, который на протяжении всего жизненного цикла советского субъекта обсуждался, выторговывался и выносился множественными партийно-государственными инстанциями. Партия являлась высшей контрольной инстанцией, наделенной полномочиями описания, классификации и упорядочивания индивида по признакам пролетарского сознания, социального происхождения, образования, участия в революционной борьбе — комплекса критериев «доверия партии», менявшихся по ходу советской истории. Тем самым большевики присвоили себе право определять характерные черты «правильной» и «отклоняющейся» идентичности, устанавливая признаки описания доверия и недоверия в целях социальной инженерии и формирования идеальной советской субъективности.

С самого начала прихода к власти большевиков партия была озадачена проблемой определения *своих*, то есть верных и лояльных режиму лиц. Как недавно продемонстрировала Синтия Хупер, в отличие от США, СССР не использовал научных методов психологического тестирования для измерения степени политической лояльности у граждан и их предрасположенности к государственной измене<sup>7</sup>. Данное обстоятельство привело в советской России к образованию регистра нормативных критериев для определения советской идентичности, сводившихся к единой марксистской категории класса. Однако отсутствие ясного механизма верификации критериев советской идентичности предоставило возможность их творческой (пере-)интерпретации как со стороны контрольных инстанций, так и со стороны граждан.

В итоге, заполняя анкеты, составляя автобиографии и проходя через «чистки», люди действовали в коммуникативном пространстве (пере-)распределения доверия и недоверия партии. Участвуя в официальных процедурах выявления, установления, подтверждения субъективности, люди замечали, что кто-то пользовался гораздо большим доверием партии, несмотря на меньшие заслуги; кто-то внезапно исключался из партии по причине публично высказанного

недоверия к персоне. Понять такую логику стало жизненно необходимым требованием времени. Увидеть «истинное лицо» личности, докопаться до ее души, вкрасься в ее самые потайные уголки становилось главной задачей бюрократических инстанций, первичных партийных ячеек на фоне бурного роста численности партийцев в первые годы советской власти<sup>8</sup>. Массовые призывы в партию, особенно Ленинский призыв 1924 г. и Октябрьский призыв 1927 г. с целью увеличения доли рабочих в рядах партии, сопровождались поиском «двурушников», «карьеристов», «диверсантов», «вредителей» и «приспособленцев», втершихся в доверие к партии по обману, блату, нелепой ошибке — в любом случае, в условиях, требовавших повышенной бдительности. Пропагандистский лозунг «срывать маски» у всех классовых врагов советской власти определил методы поиска «истинного лица» личности для выявления степени их лояльности к партии большевиков. Таким образом, категории «доверия» и «недоверия» стали интегральной частью политики «срывания масок», разделяя советские идентичности на «правильные» и «фальшивые».

Поддерживаемая государством практика написания писем во власть представляла собой лабораторию социальной инженерии, в которой индивиды превращали себя в субъекты в процессе освоения официального дискурса и его умелого внедрения в организацию повседневности, примеривания социально одобряемых ролей, наделявших человека легитимным правом соучастия, сотрудничества и сопереживания в проекте построения коммунизма<sup>9</sup>. Письма являлись экспериментальной площадкой для «конструирования себя», пространством работы по самосовершенствованию<sup>10</sup>, способом «внутреннего» усвоения идеологии и методом субъективации советского порядка. Они создавали поле для ведения переговоров и перераспределения ресурсов, проливая свет на непрерывный процесс определения границ между моральным и аморальным, политическим и неполитическим, друзьями и врагами режима. Перспектива исследования писем ставит в центр анализа советское «я» в паутине властных отношений, не противопоставляя индивида и партию, личность и идеологию, а рассматривая их в комплексных процессах коммуникации, взаимодействия и взаимозависимости.

Более того, практики самоактивации, самомобилизации и эмоциональной подзарядки в письмах во власть расширяют наше представление об утверждении легитимности власти большевиков не только за счет насилия, принуждения и террора. Мой анализ призван показать, что советские люди знали и чувствовали, как создавать верную идентичность, заслужить доверие партии, превратить себя в творца истории и стать активным участником масштабных политических трансформаций. Письма во власть доказывают, что советское «я» не было атомизировано, а использовало имеющиеся в распоряжении язык, пространства и медиакоммуникации для самовыражения, самореализации и конструирования собственной советскости. Прежде всего, субъект определял себя в соотношении с ключевыми событиями в истории молодого большевистского государства, а именно: с революцией и гражданской войной.

Исследования «советской субъективности» занимают все более прочное место в российской историографии<sup>11</sup>. Однако Стивен Коткин был первым

историком, вдохновленным анализом субъективности Мишеля Фуко и практиками повседневности Мишеля де Серто на примере рассмотрения Магнитогорска в качестве микрокосмоса советской цивилизации<sup>12</sup>. В своей концепции «говорить по-большевистски» С. Коткин указал на рациональное использование советским субъектом идеологии и официального языка в целях конструирования социальных идентичностей<sup>13</sup>. Делая данное утверждение, С. Коткин следовал «романтической традиции» описания либерального субъекта, автономность и рациональность которого позволяли ему выживать в условиях сталинизма за счет циничности, прагматичности и поиска личной выгоды от кооперации с режимом тоталитарной власти. Для С. Коткина советский субъект был расчетливым гражданином, который использовал идеологию в частных целях для оптимизации личной жизни в условиях сталинизма.

Оппонентами С. Коткина выступили Игал Халфин и Йохен Хелльбек<sup>14</sup>. Их работы отличались двумя принципиальными аргументами. Во-первых, они указали на ключевую роль идеологии в расшифровке «коммунистической герменевтики души». Личность для них не мыслится вне дискурса власти, который определял нормативную субъективность, диктовал правила подчинения конвенциональным имиджам и форсировал слияние «я» с образцовыми биографиями героев из романов социалистического реализма. Жизненная сила воспроизводства идеологии, утверждает Й. Хелльбек, заключалась в возможностях ее «распаковывания» и персонализации в судьбах миллионов советских граждан<sup>15</sup>. Во-вторых, в своих исследованиях они поставили в центр анализа сознание в качестве главной движущей силы трансформации советского субъекта. Большевиком, утверждали авторы, мог стать каждый, кто был готов работать над собственным сознанием и политизировать собственное «я» в соответствии с идеалами партии. В ходе реализации масштабных политических программ советское государство побуждало население размышлять о себе как о носителях политического «я», которое должно трансформироваться в соответствии с изменением социального и политического ландшафта. Реакцией на вызов времени, пишет Й. Хелльбек, стала волна текстов личного происхождения, благодаря которым ранее молчавшие в традиционной политической истории группы населения получили возможность высказаться, иметь институты и процедуры для самовыражения и открытия смысла бытия<sup>16</sup>.

Мое исследование нацелено на интеграцию вышеназванных бинарных репрезентаций советского субъекта: или как рационального циника, или как чисто идеологического агента. Проанализированные мной письма во власть позволяют сфокусировать анализ на стратегиях и тактиках *пишущего субъекта*. Под письмом в данном случае понимается процесс субъективирования советской реальности и процесс самообучения тому, как стать советским человеком. На основе данных источников невозможно изучить всю комплексность жизни личности в СССР. Тем не менее, благодаря таким историческим документам, как прошения, жалобы, заявления, в фокусе историка оказываются отдельные акты коммуникации, позволяющие понять риторику, эмоции и повседневный опыт личности в коммуникации с государством и партией. Письма во власть отражали острую потребность в индивидуальной ориентации, определении советской идентичности и личного поиска советского «я». Доверие и недоверие играли

в данных процессах центральную роль. Во-первых, язык доверия и недоверия использовался авторами прошений, с целью создания пространства переговоров с представителями и институтами власти. Благодаря формулировке моральных требований и ожиданий, язык доверия/недоверия был рассчитан на эффект медиации, стимулирование взаимности и возникновения чувства принадлежности к системе. Во-вторых, идеологический язык авторов писем, или их навык «говорить по-большевистски», усиливался домодерными структурами укрепления солидарности, а именно, через риторику семейственности и родства<sup>17</sup>. В-третьих, доверие и недоверие определяли становление личности, процессы социализации и пути успешной интеграции в политическую общность, предлагавшую индивиду жизненные смыслы. Человек оценивался другими лицами и институтами как заслуживающий доверия, если он разговаривал с другими членами общества «на одном языке», разделял общую память и опыт, наряду с другими участвовал в ритуалах воспроизводства политического сообщества. В данном свете доверие партии являлось центральным социальным капиталом личности, доказательством советскости субъекта. С одной стороны, его приобретение являлось маркером дисциплинирования субъекта посредством его включения в коллективные концепции стыда, чести и гордости на пути открытия советского «я». С другой стороны, социальный капитал доверия/недоверия указывал на возможности и границы эмоциональной мобилизации и социального контроля нелояльных граждан.

### **Субъективность между доверием и недоверием партии**

Не сама по себе автобиография определяла советскость субъекта, а высказанное или отклоненное партией большевиков доверие/недоверие к личному нарративу<sup>18</sup>. В ходе строительства государства и общества партия большевиков захватила монополию на определение и подтверждение, распределение и дозирование, наделение и объективирование доверия и недоверия к индивидам<sup>19</sup>. Доверие/недоверие партии, образно говоря, стало важной преобразующей силой в процессах социальной инженерии и конструирования советской субъективности, разделяя население на классы, национальности, поколения, на граждан и неграждан. В установлении социального неравенства и политической иерархизации общества, в которой были *свои* — друзья, и *чужие* — враги режима, — категории доверия и недоверия играли ключевую роль. Для доказательства «доверия партии», его завоевания, возвращения и подтверждения РКП (б)<sup>20</sup> создала контрольные инстанции (в виде разветвленной сети партийных ячеек и райкомов на местах), бюрократические процедуры (заполнение анкет, «чистки» и кампании проверки партийных билетов) и социальные практики (в виде ритуалов самокритики, написания автобиографии, прошений во власть), принуждавшие человека проводить постоянную работу над собственным «я», а именно: самосоветизироваться, самосовершенствоваться и подгонять себя под идеалы, нормы и ожидания большевиков.

Что представляло собой «доверие партии» на практике? Данная дискурсивная конструкция появляется с первых дней существования партии большевиков. Во-первых, она использовалась для управления динамикой кадровой политики, продвигая к вершинам власти *своих* и убирая впавших в немилость. Во-вторых,

«доверие партии» было призвано дисциплинировать субъекта, диктуя ему алгоритмы ожидаемого поведения. Оно становилось политическим ресурсом, который маркировал социальный статус, устанавливал неравенство и иерархию, определял механизмы включения и исключения. Оно представлялось мощной силой, способной вознести на вершину успеха и в мгновение ока сбросить с пьедестала почета, подчинить душу и тело индивида страху за собственную жизнь, создать эмоциональные связи долга между человеком и государством, которые возвышались над семейно-родственными отношениями. «Доверие партии», в третьих, обозначало степень близости (в семантике духовного-идеологического родства) субъекта к братскому сообществу большевиков. Однозначно, что использование языка доверия и недоверия в письмах во власть описывает человеческий инстинкт поиска источников уверенности в завтрашнем дне, стабилизации и прогнозируемости повседневности на фоне эскалации недоверия: это попытка найти личные смыслы и систему координат в экстремальных условиях террора и насилия, страха и риска, часто на грани жизни и смерти<sup>21</sup>.

Партия инсценировалась высшей моральной инстанцией, выносившей вердикт о доверии/недоверии в качестве индивидуального ресурса, необходимого для успешной интеграции в советское общество. Александр Лившин установил тонкие семантические различия в советской риторике доверия. Термин «заслужить доверие партии» указывал на желание индивида примкнуть к *своим* — к братской семье членов партии, и стремление совершить необходимые для этого поступки. «Оправдать доверие партии» означало принадлежность к группе избранных, которую было необходимо постоянно доказывать и подтверждать как зыбкий, но центральный ресурс для репрезентаций советскости<sup>22</sup>. «Вернуть доверие партии» подразумевало пережить личную драму — исключение, унижение и позор, которые субъект намеревался конвертировать в новый капитал доверия со стороны партии большевиков. Данная риторика активно интегрировалась в процедуры партийных «чисток», показательные судебные процессы, ритуалы самокритики, представляя доверие/недоверие движущими силами идеологического дисциплинирования, построения политической иерархии и формирования советской субъективности. Эскалацию «Большого террора» невозможно объяснить без анализа общей атмосферы подозрительности, страха и недоверия на фоне стремления заслужить «доверие партии» через донос<sup>23</sup>.

В письмах во власть «доверие партии» интерпретировалось авторами как источник энергии, чести и авторитета, а его отсутствие — как потеря человеческого достоинства, позор и отсутствие уважения со стороны коллектива. Некий М. Малышев, член РКП (б), над которым нависла угроза исключения из партии вследствие ряда управленческих ошибок, пишет ответственному секретарю Нижегородского губкома с призывом вернуть ему «доверие партии»<sup>24</sup>. Доверие определялось Малышевым как источник жизненной энергии для советского субъекта: «...я как человек, привыкший работать при полном доверии со стороны партийных органов, если же у Вас вкралось ко мне какое-то недоверие, то прошу его выяснить вызовом меня лично для объяснения, ибо я могу потерять энергию и всякую инициативу в своей работе, о чем прошу меня уведомить»<sup>25</sup>. В другом письме некий гражданин Малов расценивал надежду на вступление

в партию в качестве знака оказания наивысшего доверия, которое сравнивал с «живительной водой» для пробуждения революционного сознания у субъекта<sup>26</sup>.

«Доверие партии» не ограничивалось лишь символическими коннотациями. Оно также предполагало материализацию в статусных вещах. Если роскошь могла позволить себе исключительно партийная элита, то для рядовых членов партии это было чувство эксклюзивной принадлежности к узкому кругу лиц, пользовавшихся льготами и привилегиями<sup>27</sup>. О материальном измерении доверия в ограниченном круге членов партии, пользовавшихся доверием РКП (б), написал некий гражданин Спиридонов в редакцию газеты «Комсомольская правда» в феврале 1928 г.<sup>28</sup> Автор описывал резкий контраст статусов партийцев и беспартийных: материальные льготы, привилегии, доступ к ресурсам у первых и нищету, голод, плохие условия работы и оплаты у вторых. Как повествует автор письма, «доверие партии» оказывало прямое воздействие на организацию повседневной жизни — получение просторной квартиры, служебной машины, путевки в санаторий и более высокой заработной платы. В данном свете «доверие партии» выступало не только маркером социальной иерархии, но и легитимировало социальное неравенство между бедными и богатыми за счет политических аргументов деления на *своих* (партийных) и *других* (беспартийных)<sup>29</sup>.

Материализацией «доверия партии» в чистом виде стал партийный билет. Другими словами, он являлся своего рода паспортом «правильной» советской субъективности. Партийный билет являлся маркером статуса, индикатором принадлежности и показателем близости к центральному источнику доверия — ВКП(б). Его потеря приравнивалась к ослаблению «большевистской бдительности», что было равнозначно «потере чести» коммуниста и оборачивалось позорным лишением «доверия партии»<sup>30</sup>. Именно данная семантика превращала партийный билет в предмет столь страстных желаний и одновременно страхов среди советских граждан.

Партийный билет и доверие партии нужно было заслужить. Для этого в первую очередь требовалось предоставить доказательства верности партии через описание пути личностного развития и становления революционного сознания. Автобиография превращалась в хранилище знаний о человеке, или «универсальное советское удостоверение личности»<sup>31</sup>, идентифицируя социальное происхождение и классовую принадлежность, службу в армии и опыт революционной борьбы, членство в политических организациях и жизненную философию, уровень образования и профессиональную деятельность, окружение и родственников. В практиках составления автобиографии авторы пытались представить себя в самом лучшем свете и создать некий вариант *чистой* биографии без «черных пятен». Ее цель заключалась в убеждении контрольных партийных инстанций в искренности мировоззрения составителя, включавшей открытое признание ошибок из прошлого или же их сокрытие из биографического нарратива. Вплоть до введения паспорта в 1932 г. автобиография являлась одним из идентификационных документов личности, а ее написание превратилось в виртуозную «работу над собой», предлагая каждому гражданину и негражданину включить себя в проект строительства социализма посредством принятия веры в идеологию большевиков<sup>32</sup>.

Структура нарратива следовала жанру биографии социалистического реализма, в центре которого стояла судьба героя-большевика<sup>33</sup>. Советские люди получали образцовый мастер-нарратив, который они креативно наполняли индивидуальными содержаниями и тем самым получали возможность вписать миллионы судеб в жизнь революции, превратить себя в революционеров-большевиков и примерных советских граждан. Данной схеме следовал гражданин Малышев, начиная повествование с политизации собственной автобиографии: отдельное «я» показывало свою принадлежность к коллективному «мы», интегрируя личный нарратив в историю страны и историю партии большевиков. Автобиография Малышева начинается во время первой революции 1905 г., в ней рассказывалось об участии автора в различных политических организациях. Спустя два года Малышев уже описывал себя активным и более сознательным участником революционного подполья — организатором многочисленных кружков и антирелигиозных акций («вместо „Боже, Царя храни“ пели „Марсельезу“», «во время молебствий о дожде рядом с церковью мы играли в гармонию и пели песни»<sup>34</sup>), распространителем «политической литературы» и агитатором против войны. В особенности описание «хулиганских» акций оскорбления священников и нарушения порядка богослужений в церквях использовалось для инсценировки конфликта поколений между революционной молодежью и их «несознательными» — верующими — родителями. Принадлежность к подпольной организации Малышев характеризовал как необходимую школу жизни для каждого революционера. Героизация готовности к самопожертвованию и страданий в гонениях, тюрьме и ссылке аналогичным образом служила классическим доказательством «правильного» большевика<sup>35</sup>.

Революционизирование «я» представлялось постепенным процессом самоопределения, которое происходило за счет сближения героев биографических нарративов с пролетариатом и началом чтения запретной литературы. Последовательно, шаг за шагом Малышев доказывал формирование революционного сознания посредством отклонения крестьянского менталитета и отказа от традиционного образа жизни. По выражению Игала Халфина, автобиография являлась нарративом о личностном перерождении из обывателя в политически сознательного агента, или, выражаясь метафорой религиозного конвертирования, это был путь от «темноты» к «свету», путь обретения истинной веры в идеологию большевиков<sup>36</sup>. Требование социального самоизменения вписывалось в общий дискурс культурности, требуя от индивида чтения книг и газет, поддержания чистоты и личной гигиены, организации нового быта и эмансипации сознания от религии<sup>37</sup>. Письма во власть являлись артефактами и результатом политики культурности, демонстрировавшим уровень образованности и сознательности субъекта в роли гражданина в коммуникации с партийно-государственными структурами. Не случайно в 1930-х гг. широко использовались такие слова, как «перековка», «переход», «душевный перелом», указывая на внешние и внутренние факторы трансформации индивидов в советских субъектов — верных, послушных и дисциплинированных советских граждан<sup>38</sup>.

Решающим моментом для демонстрации становления зрелого коммунистического сознания являлось упоминание о процедуре вступления в ряды партии большевиков. Превращение в истинного партийца приравнивалось к ритуалу



перехода, разделяя жизнь субъекта на «темное» *до* и «светлое» *после*. Малышев вступил в партию 24 марта 1917 г. в Москве на фабрике «Михельсон», куда прибыл сразу же после начала Февральской революции и свержения царизма. Он не являлся пролетарием, отмечал лишь близость к фабрике, и тем самым обозначал сближение с пролетариатом. Февральская революция не коснулась его напрямую; автор сознательно описывает себя активным участником событий Октябрьского переворота, внесшим личный вклад в победу революции<sup>39</sup>. Йохен Хелльбек доказал, что в жизни советского человека революция стала решающим маркером биографических нарративов, так как она стимулировала утверждение советского «я» в качестве политического субъекта с правом высказываться в пространствах саморепрезентаций<sup>40</sup>.

По возвращении на родину в Нижегородскую область Малышев представлял себя активным организатором советской власти. Ему была поручена организация милиции и уголовного розыска. Доказывая профессионализм и наличие политической воли, он занимал значимые в административной иерархии должности и посты, демонстрируя политический капитал большевика, например: начальника уездной милиции, председателя уездной контрольной комиссии и члена оперативной тройки. В своей автобиографии Малышев подчеркивал положительный эффект утверждения советской власти на местах. Прежде всего, он отмечал улучшение работы уголовного розыска по губернии как «боевого и революционного органа, который может вести борьбу с преступным миром...». Как следствие, советская власть представлялась Малышевым упорядочивающим и организующим началом, и противопоставлялась хаосу, произволу и неопределенности царского времени. Следуя топосу «правильной» автобиографии, авторы описывали в своей жизни, словами Халфина, «переход от пассивного голоса жертвы эксплуатации к активному голосу большевистского строителя мира»<sup>41</sup>.

Как правило, пробуждение революционного сознания сопровождалось разрывом с прошлым: с прежними политическими убеждениями, социальным окружением и с верой в Бога. Прошлое становилось объектом личного стыда, мешающей памятью и пятном позора, которое было необходимо «стереть» посредством установления нового духовного родства с партией. Биологическая семья должна была быть вытеснена духовной семьей партии, члены которой были объединены идеей братства<sup>42</sup>. Малышев в данном случае не являлся исключением. Имея «черную метку» в графе о социальном происхождении (из зажиточных и верующих крестьян), он послушно сообщал партии о разрыве связей с семьей: «...с родными я не имею 3 с лишком года никаких отношений, так как они смотрят на меня, как на богоотступника и даже не желают со мной переписываться»<sup>43</sup>. В другом случае составной частью ритуала покаяния перед партией некоего Я. Л. Белкина, исключенного по обвинению в «солидарности с троцкистскими идеями», стало оправдание за сохранение контактов с родителями: «...я с 1919 года жил совершенно самостоятельно, потеряв с ними (родителями. — А. Т.) всякую материальную связь. Я связан с ними только постольку, поскольку бывая в Москве, заезжаю к ним. Они абсолютно чужды мне во всех отношениях... При приеме в комсомол и в партию, я своего происхождения не скрывал, но меня приняли, ибо никаких точек связи с социально чуждыми, кроме моего рождения в семье

мелкого еврейского торговца, у меня нет»<sup>44</sup>. Не нуклеарная семья, а государство и партия должны были стать для «хорошего» советского гражданина источниками идентичности и смысла<sup>45</sup>. Наоборот, связь с семьей трактовалась как проявление мягкотелости, безрассудства и слабохарактерности<sup>46</sup>. Как следствие, чувство стыда за прошлое предлагалось компенсировать чувством гордости за принадлежность к партии большевиков.

Степень доверия партии человеку определялась не только высоким уровнем его революционного сознания, или умением говорить и действовать по-большевистски. Как показывают мои источники, важную роль в формировании советской субъективности играл внешний вид — одежда и прическа, язык тела и манеры поведения<sup>47</sup>. Например, «неправильный» облик жен членов партии мог бросать тень на политическую репутацию их супругов. В дискуссиях о партийной этике их «вызывающие» платья и украшения расценивались как «несоответствие коммунистическому воспитанию» и «пролетарской идеологии»<sup>48</sup>. В 1925 г. нижегородец Б. А. Рыбьев написал в центральную партийную газету «Правда» письмо о партийной этике и борьбе с излишествами, а именно: неуместности ношения женами коммунистов драгоценных украшений. «На жене тов. Лелапша, молодой „интересной“ женщине надеты в ушах золотые серьги с бриллиантами, на руке большое золотое кольцо с большим камнем, название коего я не знаю и на выхоленных руках, удлиненные ногти, только, что видно вышедшие из под рук маникюрши, блестели покрытые розовым лаком, при этом накрашенные губы и сильно надушенное лицо, все это говорило куда далеко, от жены коммуниста, вид какой-то каким должен быть по взглядам нашей партии»<sup>49</sup>.

Тот факт, что дело получило огласку, свидетельствовал о мониторинге соответствия внешнего облика партийца определенным стандартам со стороны партийных контрольных инстанций. Коммунист Лелапш был вынужден написать объяснительную записку относительно «неподобающего» облика жены. Ведь именно на мужчин возлагалась политическая миссия просвещения и образования женщины. Руководствуясь этим, Лелапш отказывался от выдвинутых в его адрес обвинений. При этом он использовал официальный дискурс культурности, организации нового быта и женской эмансипации в защиту супруги: «...Ношение моей женой обручального кольца, объясняю тем, что таковая носит последнее предметом, указывающим на ея семейное положение, как память, но не как дорогую, тем более драгоценную вещь, какой можно кичиться... Маникюр — это уход за ногтями и в силу того, что медициной предусмотрена чистка ногтей как гигиена, то данный вопрос совершенно выдвинут неуместно, и женщине, занимающейся полным домашним хозяйством необходимо соблюдение гигиены, как в отношении своего тела и тех предметов, каковые находятся в тесном соприкосновении с ней»<sup>50</sup>.

В другом случае член партии М. Г. Панков был обвинен в ведении слишком замкнутого — неполитического — образа жизни в семье. Над ним нависла опасность исключения из партии. Лишь после предъявления медицинской справки о заболевании супруги неврастенией и медицинского запрета посещать публичные места, сомнения в советскости Панкова были сняты с повестки дня<sup>51</sup>. Прием политической дискредитации мужчины через патологизацию женщины и ее тела

не являлся единичным случаем. Данная логика соответствовала представлению большевиков о том, что их господство и идеология передавались по мужской линии, в то время как женщинам приписывалась роль политически слабого и идеологически уязвимого звена, склонного к предательству и измене<sup>52</sup>. Гендерные коннотации усиливались конкуренцией между классами: пролетариату приписывались такие качества, как маскулинность, решительность и сила, а интеллигенции — женственность, слабость духа и декаденство. Парадоксально, но именно манеры являлись одним из критериев определения классовой идентичности в советском обществе. Так, жест мужского поцелуя женской руки приписывался интеллигенции как классу, к которому пролетариат и крестьянство должны относиться с недоверием и подозрительностью<sup>53</sup>. Именно расшифровка публичной семантики тела и гендерного порядка власти чрезвычайно важна для понимания складывания нормативных представлений о советской субъективности за счет описания телесного опыта в бинарных категориях морального и аморального, здорового и больного, революционного и вражеского, пролетарского и буржуазного тела<sup>54</sup>.

#### **От доверия поручителя к доверию партии: прошения к вождям**

Наличие авторитетного вышестоящего патрона-поручителя являлось важным катализатором в подтверждении «правильной» советской субъективности. Поручительство влиятельного вождя могло существенно ускорить принятие в партию, продвижение по службе, получение наград, льгот и привилегий в виде повышения пенсии, освобождения от уплаты налогов и помощи в трудоустройстве<sup>55</sup>. Характеристика, справка, заверение патрона были призваны укрепить доверие к персоне, подтвердив искренность его веры в идеологию, чистоту намерений и достоверность фактов биографии. Статус личного поручителя напрямую влиял на наделение заявителя доверием: чем выше в партийно-государственной иерархии находился влиятельный патрон-покровитель, тем быстрее автор-заявитель мог рассчитывать на положительное разрешение личных вопросов. Как следствие, имя рекомендателя заносилось в личное дело наряду с номером партийного билета: поручаясь за заявителя, поручатель брал ответственность за него<sup>56</sup>. В личных фондах высших партийных руководителей хранится множество подобных просьб о выдаче характеристик, подтверждении личного знакомства, заверении биографий. Например, многие украинцы — земляки К. Е. Ворошилова, искали защиты и покровительства у влиятельного соотечественника в Москве. Наряду с общим местом рождения, порой личным знакомством, опытом революционной борьбы, все авторы прошений к нему чувствовали обязательным доказать свою советскость через автобиографию.

Как правило, к К. Е. Ворошилову обращались бывшие товарищи с просьбой заверить их автобиографии, написать характеристики и подтвердить общий опыт революционной борьбы<sup>57</sup>. Письма с подобными просьбами получала и жена К. Е. Ворошилова. Просители явно рассчитывали на возможности воздействия на мужа через супругу<sup>58</sup>. Например, в 1926 г. писем из Украины на имя К. Е. Ворошилова и его супруги оказалось так много, что он был вынужден обратиться к землякам через региональную газету «Луганская правда» с призывом не ехать в Москву, не приходить к нему на прием, не тратить «последние гроши» на «мытарства в Москве», а обращаться для разрешения проблем в первую очередь

в местные органы власти. Только в случае, если проблему не удастся решить с региональными властями, К. Е. Ворошилов рекомендовал излагать суть проблем в письмах, пересылая их в Москву<sup>59</sup>. Именно трех ключевых слов на конверте было достаточно для точной доставки обращений со всего Советского Союза: «К. Е. Ворошилову. Кремль. Москва».

В фонде К. Е. Ворошилова имеется значительное количество писем от представителей поколения «старых большевиков». Они полны сообщений о «плохом здоровье» и «проблем с самочувствием» вследствие служения родине<sup>60</sup>. В письмах в официальные инстанции советский субъект намеренно описывал детали болезни, чтобы ускорить процесс решения своих проблем. Например, в марте 1933 г. «старый товарищ» Ворошилова Л. М. Нестеренко обратился к вождю с просьбой подтвердить его автобиографию. Одновременно он просил посодействовать в лечении туберкулеза за счет устройства в специальную клинику: «Ведь очень хочется ликвидировать процесс болезни и включиться в активную работу, а сейчас при всем желании не могу быть активным, малейшее напряжение, волнение, вызывает кровохарканье и я быстро совершенно обессиливаю...»<sup>61</sup>. Больному телу автора противопоставлялось здоровое — советское — тело Ворошилова: «...ты как огурчик — бодрый, энергичный, словом, как 20-летний молодой человек...»<sup>62</sup>. В данных описаниях К. Е. Ворошилов представлялся живым воплощением нового человека, для которого биологический возраст являлся второстепенным, а исторический возраст отражал энергетику и активность, творчество и энтузиазм, политическую сознательность и силу воли идеальных строителей коммунизма. Как следствие, доступ к телу вождя рассматривался источником советских, жизнеутверждающих эмоций, связывавших авторов прошений с режимом и стимулировавших процессы их самосовершенствования, или советской перезарядки, в ситуации личных сомнений и неизбежного процесса физического старения.

В обращениях к партийно-государственным лидерам вождь описывался источником света для индивида, который указывал верный путь для становления социалистической личности и способствовал пробуждению спящего политического сознания субъекта. Как писал некий гражданин Гесин из Москвы к 50-летию Ворошилова: «...мои наилучшие пожелания еще столько же лет гореть для партии, для рабочего класса, для дела коммунизма»<sup>63</sup>. Более того, вожди представлялись источником жизненной энергии и революционной витальности, способным укреплять веру в советский строй. Именно эмоциональная связь с вождем служила катализатором конструирования советскости, проливая свет на механизм самосоветизации субъекта. Александр Гаркуша из Армавира писал Ворошилову: «Со дня нашего с Вами знакомства в 1917 году в б. Петрограде, Вы на меня произвели очень большое влияние и зарядили Вы меня такой большевистской закалкой, которую я с гордостью буду хранить до самой моей смерти...»<sup>64</sup>. Показательно и высказывание гражданина Розловского, добивавшегося после ареста ОГПУ возвращения квартиры с помощью личного вмешательства К. Е. Ворошилова — своего товарища по революционному прошлому. Он писал вождю: «Дорогой Клим! Мне необходимо видеть тебя... Я тебе обязан возвращением к жизни... Мне нужно твое слово — оно даст мне зарядку на весь остаток жизни...»<sup>65</sup>

Поток таких прошений к К. Е. Ворошилову не прекращался вплоть до смерти вождя 2 декабря 1969 г. Многочисленные примеры показывают, что данный канал связи был эффективным методом установления моральных связей доверия между индивидом и вождем<sup>66</sup>. К. Е. Ворошилов выполнял просьбы товарищей, стараясь репродуцировать семантику «доверия партии» по ряду причин. Во-первых, как высший партийный и государственный авторитет, вождь чувствовал моральный долг демонстрации сочувствия и оказания эмпатии нуждающимся членам советского общества. Во-вторых, в особенности по отношению к землякам и группе «старых большевиков», действия К. Е. Ворошилова определялись товарищеским кодексом чести, подразумевавшим взаимопомощь и поддержку в трудных ситуациях. В-третьих, его реакции на письма граждан были призваны перевести миф о братской партийной солидарности и миф об СССР как большой семье народов в реальный опыт повседневной жизни. Не случайно в ответе на одно из прошений К. Е. Ворошилов определял свою работу с письмами граждан как выражение высокого морального долга службы партии и государству: «Мы, большевики, все вместе и каждый в отдельности, в меру своих сил и способностей, стремимся оправдать доверие партии и народа и видим в этом весь смысл своей жизни и деятельности»<sup>67</sup>. Таким образом, доверие партии в конечном итоге определялось практиками оказания доверия со стороны вождей, или персонализированным доверием, закреплявшим логику патроно-клиентских отношений в российской политической культуре, с одной стороны, и воспроизводившим сакральность представителей центральной власти как высшей моральной и правовой инстанции в разрешении конфликтов — с другой<sup>68</sup>.

### **Заключение**

Всю жизнь советский человек работал над совершенствованием своей субъективности в глазах партийных и государственных структур: многократно переписывал автобиографии, вновь заполнял анкеты, апеллировал с прошением во власть, проходил через самокритику и партийные «чистки». Автобиографическая часть в письмах граждан во власть была особенно необходима для усиления эмоционального воздействия на адресата и доказательства советскости субъекта через категории социального происхождения, классовой принадлежности, опыта прошлого и целеполагания о будущем. Как показывает проведенный анализ, «доверие» и «недоверие» являлись центральными оценочными категориями советской субъективности, позволяя государству и партии вторгаться в душу и сознание индивида, программировать его поведение, с одной стороны, и создавать для субъекта социальные практики наполнения жизни идеологическим содержанием, личным смыслом и энергией для приближения к пропагандируемым идеалам — с другой<sup>69</sup>. Доверие и недоверие партии стимулировали личность к работе над собой, требуя формирования советского «я». Гибридность языка, который субъекты использовали в своих апелляциях во власть, указывала не только на риторическую стратегию «говорить по-большевистски». Как минимум, авторы писем активно использовали традиционный язык семейственности и родства для выстраивания мостов доверия между индивидом и государством<sup>70</sup>.

Не все советские граждане выдерживали испытание доверием или недоверием партии, подчиняясь правилам советского политического порядка. Наиболее

радикальным способом ликвидации «я» из дискурса и практик власти большевиков являлся суицид. Йохен Хелльбек называет это жестом «самоуничтожения: физической самоликвидацией из большевистского мира и самоустранением из советского революционного дискурса»<sup>71</sup>. Для молодого советского государства проблема самоубийства была немаловажной темой: сам факт размышления гражданина о возможности совершения самоубийства оценивался властными инстанциями в качестве проявления недоверия индивида к советской власти<sup>72</sup>. Самоубийство наделялось коннотациями политического — антипартийного и антигосударственного — акта индивидуализации через решительный отказ участвовать в политическом проекте большевиков<sup>73</sup>.

О социальном эффекте самоубийства ярко рассказывает случай суицида Н. Бондаренко. Оставив прощальные письма в рабочем кабинете, он покончил с собой 19 июля 1934 г. Дело получило широкий резонанс: повесился не простой советский гражданин, а помощник прокурора Горьковской области. Шокированные члены региональной и республиканской номенклатуры задавались единственным вопросом: как такое могло произойти с человеком, наделенным «доверием партии»<sup>74</sup>? Абсолютная неожиданность случившегося в рабочем кабинете наряду с высокой должностью самоубийцы потребовали организации оперативного расследования. Ответственным за выяснение всех обстоятельств случившегося был назначен старший помощник прокурора РСФСР — некий Кондурушкин. Он получил чрезвычайно сложное задание — анатомировать душу мертвого тела: выяснить мотивы и причины столь драматичного решения человека, считавшегося, казалось бы, успешным советским человеком и примерным большевиком.

Для исследования потаенных сторон личности Бондаренко Кондурушкин вел беседы с коллегами и товарищами, председателем комиссии по «чистке» и с лечащими врачами. Он подолгу беседовал с супругой покойного и тщательно изучал медицинские акты о вскрытии. Снова и снова он пролистывал личное партийное дело жертвы, пытаясь разгадать тайну человеческой судьбы за фасадом образцовых характеристик и головокружительной карьеры. Следовательно был явно озадачен поиском *истинного* «я», скрывавшегося за маской прокурора и члена большевистской партии. Собирая все улики воедино, следовательно увидел в самоубийце Бондаренко сомневавшегося, ослабшего и загнанного начальниками человека. «Тупик жизни» и связанные с ним физическое и нервное истощение привели к роковому исходу<sup>75</sup>. Так как пропаганда представляла советского человека носителем здорового тела и духа, то в итоговом отчете акцент был сделан на медицинской составляющей заключения о болезни Бондаренко: «...он был тяжело больным человеком, психика которого была поражена общим нервным истощением»<sup>76</sup>. Как показывает данный случай, надежда Максима Горького на то, что новый строй политической жизни повлечет за собой новую организацию души<sup>77</sup>, реализовывалась не всегда, но постоянно требовала неимоверных усилий в работе человека над душой, телом и сознанием на пути к идеальному «я». Акт суицида проводил четкую границу государственной политике социальной инженерии и устанавливал барьер интервенции идеологии в душу индивида. А самое главное, самоубийство восстанавливало автономность личности в решении вопроса о жизни и смерти.

<sup>1</sup> Настоящая статья представляет первые результаты исследования под названием «Принудительное доверие: эмоциональные связи между государством и населением в Советской России (1917–1991 гг.)». Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (проект МК-1509.2014.6) и Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG — Deutsche Forschungsgemeinschaft, проект TI 900/1–1). Автор искренне благодарит анонимных рецензентов и Татьяну Морозову (Новосибирск) за ценные замечания, которые помогли значительно улучшить первоначальный текст.

<sup>2</sup> *Fritzsche P., Hellbeck J.* The New Man in Stalinist Russian and Nazi Germany // *Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism Compared* / Geyer M., Fitzpatrick Sh. (ed.). Cambridge, 2009. P. 302–341, esp. p. 314–315; *Plaggenborg S.* Revolutionskultur: Menschenbilder und kulturelle Praxis in Sowjetrußland zwischen Oktoberrevolution und Stalinismus. Köln, 1996.

<sup>3</sup> *Fitzpatrick S.* Tear off the Masks! Identity and Imposture in Twentieth-Century Russia. Princeton, NY, 2005. P. 3.

<sup>4</sup> *Hellbeck J.* Speaking Out: Languages of Affirmation and Dissent in Stalinist Russia // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2000. Vol. 1. № 1. P. 71–96.

<sup>5</sup> О документах личного происхождения см.: *Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte* / W. Schulze (ed.). Berlin, 1996; *Räume des Selbst: Selbstzeugnisforschung transkulturell* / A. Bähr, P. Burschel, G. Jancke (eds.). Köln, 2007; *Mapping the «J»: Research on Self-Narratives in Germany and Switzerland* / C. Ulbrich, K. v. Greyerz, L. Heiligensetzer (eds.). Leiden, 2014.

<sup>6</sup> *Хельбек Й.* Повседневная идеология: жизнь при сталинизме // *Неприкосновенный запас*. 2010. № 4 (72). — URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2010/4/he2-pr.html> (дата обращения: 8.03.2016)

<sup>7</sup> *Hooper C.* Trust in Terror? The Search for a Foolproof Science of Soviet Personnel // *Slavonic and East European Review*. Vol. 91. 2013. № 1. January. P. 26–56.

<sup>8</sup> В 1917 г. численность РСДРП (б) составила около 350 тыс. человек. В 1927 г. количество членов ВКП (б) увеличилось практически до 800 тыс. человек, а в 1937 г. эта цифра достигла более 1 млн 450 тыс. человек. См.: *Коммунистическая партия Советского Союза // Большая советская энциклопедия*. М., 1969–1978. — URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/97424/Коммунистическая> (дата обращения: 10.06.2016)

<sup>9</sup> Литература о письмах во власть в ранней советской России довольно обширна и не концентрируется исключительно на вопросах о субъективности. См.: *Козлова Н.Н., Сандомирская И.И.* «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо»: опыт лингво-социологического чтения. М., 1996; *Лившин А.Я., Орлов И.Б.* Революция и социальная справедливость: ожидания и реальность. («Письма во власть» 1917–1927 годов) // *Cahiers du Monde russe*. 1998. № 39 (4). Octobre — decembre. P. 488–489; *Лившин А.Я., Орлов И.Б.* Власть и общество: Диалог в письмах. М., 2002; *Лившин А.Я.* Настроения и политические эмоции в Советской России: 1917–1932 гг. М., 2010; *Fitzpatrick S.* Supplicants and Citizens: Public Letter-Writing in Soviet Russia in the 1930s // *Slavic Review*. Vol. 55. 1996. № 1. P. 78–103; *Davies S.* The Cult of the «Vozhd»: Representations in Letters from 1934 to 1941 // *Russian History*. 1997. № 1–2. P. 131–147; и т. д.

<sup>10</sup> См.: *Self and Story in Russian History* / L. Engelstein (ed.). Ithaca, NY, 2000; *Autobiographical Practices in Russia* / J. Hellbeck, K. Heller (eds.). Göttingen 2004, а также: *Rewriting the Self: Histories from the Renaissance to the Present* / Roy Porter (ed.). London, New York, 1997.

<sup>11</sup> Например: *Альмов С.* Коммунистическая метафизика? Жизнь и идеи непризнанного советского пророка Хрисанфа Правдина // *Soviet History Discussion Papers — DHI Moskau*. — URL: [http://www.perspectivia.net/publikationen/shdp/alymov\\_metafizika](http://www.perspectivia.net/publikationen/shdp/alymov_metafizika) (дата обращения: 03.10.2016); *Кравченко А.* «Больше писать не хочется»: большой террор и дети репрессированных. Опыт рассмотрения дневников двух юных комсомольцев // *Laboratorium: журнал социальных исследований*. Т. 7. 2015. № 1. С. 122–135; *Почепцов В.* «Колымское землячество»: проблема формирования идентичности политических заключенных (на материале мемуаров Зои Дмитриевны Марченко) // *Laboratorium*. Т. 7. 2015. № 1. С. 136–146.

<sup>12</sup> *Kotkin S.* Magnetic Mountain: Stalinism as Civilization. Berkeley, 1995.

<sup>13</sup> Подробный историографический анализ генезиса концепции о советской субъективности см.: *Uhl K.* «Oppressed and Brainwashed Soviet Subject» or «Prisoners of the Soviet Self»? Recent Conceptions of Soviet Subjectivity // *Bylye Gody*. 2013. №28 (2). P. 4–10. — URL: [http://bg.sutr.ru/journals\\_n/1374765473.pdf](http://bg.sutr.ru/journals_n/1374765473.pdf) (дата обращения: 8.03.2016)

<sup>14</sup> *Halfin I.* From Darkness to Light: Class, Consciousness, and Salvation in Revolutionary Russia. Pittsburgh, 2000; *Hellbeck J.* Revolution on My mind: Writing a Diary under Stalin, Cambridge, Mass. 2006.

<sup>15</sup> *Хелльбек Й.* Повседневная идеология: жизнь при сталинизме.

<sup>16</sup> Интервью с Игалом Халфиным и Йоханом Хелльбеком // *Ab Imperio*. 2002. №3. С. 217–260.

<sup>17</sup> *Tikhomirov A.* The State as a Family: Speaking Kinship, Being Soviet and Reinventing Tradition in the Soviet Union (в печати).

<sup>18</sup> Под «партией» в данном случае понимается собирательный образ в совокупности с собранием низовой организации, районным и городским комитетами, контролирующими органами и их руководителями.

<sup>19</sup> *Tikhomirov A.* The Regime of Forced Trust: Making and Breaking of Emotional Bonds Between People and State in Soviet Russia, 1917–1941 // *Slavonic and East European Review*. Vol. 91. 2013. №1. January. P. 78–118.

<sup>20</sup> С 1918 по 1925 гг. партия большевиков называлась Российская коммунистическая партия большевиков — РКП (б), а с 1925 по 1952 гг. — Всесоюзная коммунистическая партия большевиков — ВКП (б).

<sup>21</sup> *Hosking G.* Trust: A History. Oxford, 2014. P. 9–21 (Chapter 1: Land of Maximum Distrust: The Soviet Union in the 1930s).

<sup>22</sup> *Livshin A.* Bridging the Gap: Government-Society Dialogue via Letters // *Slavonic and East European Review*. Vol. 91. 2013. №1. January. P. 57–77, esp. p. 60–61.

<sup>23</sup> См. также: *Непар Ф.-К.* Пять процентов правды: разоблачение и доносительство в сталинском СССР (1928–1941). М., 2011.

<sup>24</sup> Письмо члена РКП (б) М. Малышева ответсекретарю Нижегородского губкома партии Н. Угланову о преданности советской власти, 15 мая 1923 г. // *Общество и власть. Российская провинция*. Т. 1. 1917 — середина 30-х годов. М., 2002. С. 264–267, здесь с. 265.

<sup>25</sup> Там же. С. 267.

<sup>26</sup> Письмо Н. С. Варнакова секретарю ЦК ВКП (б) И. В. Сталину с просьбой о помощи, 18 декабря 1925 г. // Там же. С. 267–269, здесь с. 269.

<sup>27</sup> При формировании класса номенклатуры для управления советским государством Л. М. Каганович 8 ноября 1923 г. отмечал «громдное воспитательное значение» партии: «Мы будем не только назначать и не только регулировать, а они будут чувствовать, что они связаны с партией, что партия их назначает и выдвигает». Цит. по: История коммунистической партии Советского Союза / Под ред. А. Б. Безбородова. М., 2014. С. 177. — О популярных и партийных дискуссиях о льготах и привилегиях партийцев см.: *Яров С. В.* Человек перед лицом власти. 1917–1920-е гг. М., 2014. С. 143–145.

<sup>28</sup> Письмо В. Спиридонова в редакцию газеты «Комсомольская правда», 13 февраля 1928 г. // *Общество и власть. Российская провинция*. Т. 1. С. 398–400.

<sup>29</sup> С. Яров отмечал, что рабочие не делали различий между «верхами» и «низами» компартии, вымещая злобу на всех членах партии как привилегированной группы советского общества. См.: *Яров С. В.* Человек перед лицом власти. С. 159–161.

<sup>30</sup> *Kaganovsky L.* Visual Pleasure in Stalinist Cinema. Ivan Pyrev's The Party Card // *Everyday Life in Early Soviet Russia. Taking the Revolution Inside* / С. Kiaer, E. Naiman (ed.). Bloomington, 2006. P. 35–60.

<sup>31</sup> *Fitzpatrick S.* Tear off the Masks! P. 92.

<sup>32</sup> Стоит уточнить, что в начале 1929 г. с целью упрощения персонального учета коммунистов рабочие и крестьяне, подававшие заявление о вступлении в ВКП (б), были освобождены от обязанности представлять автобиографию. Это был явный знак доверия партии к классу пролетариата и крестьян при одновременном сохранении требования предъявления автобиографии от служащих и «прочих». См.: Упрощение персонального учета коммунистов // *Известия ЦК ВКП (б)*. М., 1929. №5–6. С. 21. — О недоверии между пролетариатом и крестьянством



сквозь призму конфликта между городом и деревней см.: *Лившин А. Я.* Настроения и политические эмоции в Советской России: 1917–1932 гг. С. 190–192.

<sup>33</sup> *Studer B., Unfried B.* Der stalinistische Parteikader: identitätsstiftende Praktiken und Diskurse in der Sowjetunion der Dreißiger Jahre. Köln, 2001. S. 140. — Автобиографии около трехсот героев революции были опубликованы в трех частях в 41-м томе «Энциклопедического словаря Гранат». См.: Свод автобиографий и авторизованных биографий деятелей СССР и Октябрьской революции. Т. 41. Ч. 1–3. М., 1927–1929.

<sup>34</sup> Письмо члена РКП (б) М. Малышева. С. 265.

<sup>35</sup> Публично демонстрировать качества героизма и мученичества призвала резолюция XI Всероссийской конференции РКП (б), принятая весной 1922 г. См.: История Коммунистической партии Советского Союза / Под ред. А. Б. Безбородова, М., 2014. С. 188.

<sup>36</sup> *Halfin I.* From Darkness to Light: Class, Consciousness, and Salvation in Revolutionary Russia.

<sup>37</sup> *Volkov V.* «The Concept of Kul'turnost»: Notes on the Stalinist Civilizing Process // *Stalinism: New Directions* / S. Fitzpatrick (ed.). London, 1999. P. 210–230.

<sup>38</sup> *Halfin I.* Red Autobiographies: Initiating the Bolshevik Self. Seattle, Wash., 2011. P. 136.

<sup>39</sup> Письмо члена РКП (б) М. Малышева. С. 266.

<sup>40</sup> *Hellbeck J.* Speaking Out: Languages of Affirmation and Dissent in Stalinist Russia.

<sup>41</sup> *Halfin I.* Red Autobiographies: Initiating the Bolshevik Self. P. 16.

<sup>42</sup> Американский историк Линн Хант утверждала, что с началом Французской революции произошел отказ от образа отца-монарха, который в дореволюционный период выполнял функцию социальной интеграции, к идее духовного братства между гражданами. Братский союз скрепляла общая вина за смерть монарха и перенос центрированной на теле короля харизмы на рядовых членов нового духовного сообщества: *Hunt L.* The Family Romance of the French Revolution. London, 1992. P. 197–198.

<sup>43</sup> Письмо члена РКП (б) М. Малышева. С. 267. — См. также: *Halfin I.* Red Autobiographies: Initiating the Bolshevik Self. P. 70.

<sup>44</sup> Заявление Я. Л. Белкина в президиум Нижегородской краевой контрольной комиссии, 9 декабря 1929 г. // Общество и власть. Российская провинция. Т. 1. С. 388–389.

<sup>45</sup> Ср.: *Hellbeck J.* Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubnyi (1931–1939) // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. Vol. 44. 1996. №3. P. 344–373, here p. 355.

<sup>46</sup> *Hooper C.* Trust in Terror? The Search for a Foolproof Science of Soviet Personnel. P. 30.

<sup>47</sup> О политизации одежды и моде в качестве признака классовых идентичности см.: *Яров С. В.* Человек перед лицом власти. С. 274–275; *Fitzpatrick S.* Tear off the Masks! P. 63.

<sup>48</sup> Письмо Б. Рыбьева в редакцию газеты «Правда», 16 июля 1925 г. // Общество и власть. Российская провинция. Т. 1. С. 396–398.

<sup>49</sup> Там же.

<sup>50</sup> Там же. С. 397–398. — Орфография сохранена.

<sup>51</sup> Заявление члена ВКП (б) Краснобаковской организации М. Г. Панкова в Нижегородскую краевую контрольную комиссию, 23 декабря 1929 г. // Общество и власть. Российская провинция. Т. 1. С. 385–387. — Диагноз неврастении наиболее часто упоминался в медицинских заключениях врачей о здоровье коммунистов. См.: История коммунистической партии Советского Союза / Под ред. А. Б. Безбородова, М., 2014. С. 194–196.

<sup>52</sup> См. также: *Halfin I.* Red Autobiographies: Initiating the Bolshevik Self. P. 8. — А. Лившин приводит пример «глетворного влияния» жен на партийных работников по причине их социального происхождения из семей бывших помещиков и служителей культа. См.: *Лившин А. Я.* Настроения и политические эмоции. С. 130.

<sup>53</sup> *Halfin I.* Red Autobiographies: Initiating the Bolshevik Self. P. 100–101.

<sup>54</sup> *Hunt L.* The Self and Its History // *American Historical Review*. 2014. December. P. 1576–1586, esp. p. 1584.

<sup>55</sup> Например: Российский государственный архив социально-политической истории (далее — РГАСПИ). Ф. 74. Оп. 1. Д. 345. Л. 13–13а (22.11.1926)

<sup>56</sup> *Halfin I.* Red Autobiographies: Initiating the Bolshevik Self. P. 29.

<sup>57</sup> Например: РГАСПИ. Ф. 74. Оп. 1. Д. 321. Л. 8 (28.09.1934)

<sup>58</sup> Там же. Д. 435. Л. 1, 4, 5.

- <sup>59</sup> Там же. Д. 353. Л. 11 (14.06.1926).
- <sup>60</sup> Там же. Д. 324. Л. 51–52, здесь л. 51 (08.06.1935).
- <sup>61</sup> Там же. Д. 338. Л. 6–9, здесь с. 8 (26.03.1933).
- <sup>62</sup> Там же.
- <sup>63</sup> Там же. Д. 324. Л. 34–37, здесь с. 34 (03.02.1931).
- <sup>64</sup> Там же. Л. 62–63 (11.10.1935).
- <sup>65</sup> Там же. Д. 340. Л. 13 (без указания даты).
- <sup>66</sup> Например: Там же. Д. 327. Л. 61 (24.02.1925).
- <sup>67</sup> Там же. Д. 325. Л. 52 (27.09.1961).
- <sup>68</sup> *Orlovsky D. T.* Political Clientelism in Russia: the Historical Perspective // *Leadership Selection and Patron-Client Relations in the USSR and Yugoslavia* / T. H. Rigby, B. Harasymiw (eds.). London, 1983. P. 174–199; *Ransel D. L.* Character and Style of Patron-Client Relations in Russia // *Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit* / A. Maçzak (ed.). Munich, 1988. P. 211–231; *Афанасьев М. Н.* Клиентелизм и российская государственность. М., 1997; *Fitzpatrick S.* Intelligentsia and Power: Client-Patron Relations in Stalin's Russia // *Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Neue Wege der Forschung* / M. Hildermeier (ed.). Munich, 1998. P. 35–53; *Hosking G.* Patronage and the Russian State // *Slavonic and East European Review*. Vol. 78. 2000. №2. P. 301–320; *Baberowski J.* Vertrauen durch Anwesenheit: Vormoderne Herrschaft im späten Zarenreich // *Imperiale Herrschaft in der Provinz. Repräsentationen politischer Macht im späten Zarenreich* / J. Baberowski (ed.). Frankfurt, 2008. P. 17–37; *Schattenberg S.* Die korrupte Provinz? Russische Beamte im 19. Jahrhundert, Frankfurt, 2008; *Krom M.* Formen der Patronage in Russland des 16. und 17. Jahrhunderts: Perspektiven der vergleichenden Forschung im europäischen Kontext, *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. Vol. 57. 2009. №3. P. 321–345.
- <sup>69</sup> *Hellbeck J.* Galaxy of Black Stars: The Power of Soviet Biography // *American Historical Review*. Vol. 114. 2009. №3. P. 615–624, here p. 620.
- <sup>70</sup> *Tikhomirov A.* The State as a Family...
- <sup>71</sup> *Hellbeck J.* Speaking Out: Languages of Affirmation and Dissent in Stalinist Russia. P. 94.
- <sup>72</sup> *Тяжелыникова В. С.* Самоубийства коммунистов в 1920-е гг. // *Отечественная история*. 1998. №6. С. 158–173; *Pinnow K.* Lost to the Collective. Suicide and the Promise of Soviet Socialism, 1921–1929. Ithaca, 2010; *Morrissey S. K.* Suicide and the Body Politic in Imperial Russia. Cambridge, 2006.
- <sup>73</sup> *Фицпатрик Ш.* Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е гг.: город. М., 2001. С. 206–210.
- <sup>74</sup> Доклад старшего помощника прокурора республики прокурору РСФСР о самоубийстве помощника прокурора Горьковского края Н. Бондаренко // *Общество и власть. Российская провинция*. Т. 2. С. 178–182, здесь с. 179.
- <sup>75</sup> Предсмертные письма помощника прокурора Горьковского края Н. Бондаренко, 17 июля 1934 г. // *Общество и власть. Российская провинция*. Т. 2: 1930 — июнь 1941 г. / Отв. ред. А. Н. Сахаров, А. А. Кулаков; сост. А. А. Кулаков, В. В. Смирнов, Л. П. Колодникова. М., 2005. С. 172.
- <sup>76</sup> Доклад старшего помощника прокурора республики прокурору РСФСР. С. 178–182.
- <sup>77</sup> *Горький М.* Несвоевременные мысли. М., 1990. С. 113. — Цит. по: Интервью с Игалом Халфиним и Йоханом Хелльбеком // *Ab Imperio*. 2002. №. 3. С. 217–260, здесь с. 253.

## ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Тихомиров А. А. Заслужить, оправдать и вернуть доверие партии: советское «я» в письмах во власть в ранней советской России // *Новейшая история России*. 2016. №3 (17). С. 138–158. DOI 10.21638/11701/spbu24.2016.309  
УДК 94 (47).084

*Аннотация:* Одной из центральных задач утверждения советской власти большевиками являлся проект создания нового человека: с новым сознанием, новой душой и новым телом. Сотворение идеальной субъективности должно было стать залогом достижения коммунизма. В настоящей статье автор

на примере писем граждан в партийно-государственные инстанции анализирует становление советской субъективности после захвата власти большевиками с центральным вопросом о том, как люди пересотворяли себя в советских личностей, с одной стороны, и как партия и государство проводили мониторинг «правильных» идентичностей через политику социальной инженерии — с другой. Рассматривая генезис современного советского субъекта и его роли в формировании советского государства и общества, особое внимание уделяется анализу категорий «доверия» и «недоверия» в установлении моральных связей между индивидом и партией, в процессах социального дисциплинирования и установления неравенства, а также в механизмах самоконструирования историческими агентами репрезентаций надежности и достоверности для завоевания, оправдания и возвращения «доверия партии». В заключении акт суицида среди большевиков рассматривается в качестве радикального примера самоустранения субъекта из советского порядка, указывая на четкую границу интервенции идеологии в сознание нелиберального субъекта.

*Ключевые слова:* СССР, советская субъективность, социальная инженерия, доверие и недоверие, автобиография, письма во власть, К. Е. Ворошилов.

*Сведения об авторе:* научный сотрудник, Университет им. Гёте (Франкфурт-на-Майне, Германия); tikhomirov@em.uni-frankfurt.de

#### FOR CITATION

*Tikhomirov A. A. Earning, Vindicating and Returning the Party's Trust: The Soviet «I» in Public Letter-Writing to Party-State Authorities in Early Soviet Russia, Modern history of Russia, no 3, 2016. P. 138–158. DOI 10.21638/11701/spbu24.2016.309*

*Abstract:* One of the Bolsheviks' central tasks was to create a New Man equipped with a new consciousness, a new soul and a new body. Forming an ideal subjectivity was supposed to be the key to achieving communism. Using citizens' letters to party-state institutions, the author analyzes the emergence of Soviet subjectivity after the Bolsheviks seized power by asking two crucial questions. On one hand, how did people remake themselves into Soviet subjects? On the other hand, how did the party and state monitor «correct» identities through their policy of social engineering? In examining the genesis of the modern Soviet subject and his/her role in building the Soviet state and society, the focus is first on how the categories of «trust» and «distrust» established the moral bonds between the individual and the party; second, how these categories operated both in social disciplining and creating inequality; and third, how they impacted historical agents' self-construction of representations of their reliability and trustworthiness as they strove to earn, vindicate and return the «party's trust.» Finally, the article analyzes suicide among the Bolsheviks, treating it as the subject's most radical way of self-removal from the Soviet order, which indicates a clear-cut limit to ideology's intervention into the non-liberal subject's consciousness.

*Keywords:* USSR, Soviet subjectivity, social engineering, trust and distrust, autobiography, letters to the regime, K. E. Voroshilov.

*Author:* Research Fellow in East European History, Goethe-University (Frankfurt am Main, Germany); tikhomirov@em.uni-frankfurt.de

#### *References:*

- 1 Fritzsche P., Hellbeck J. 'The New Man in Stalinist Russian and Nazi Germany' in *Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism Compared*, Eds. Geyer M., Fitzpatrick Sh. (Cambridge, 2009).
- 2 Plaggenborg S. *Revolutionskultur: Menschenbilder und kulturelle Praxis in Sowjetrußland zwischen Oktoberrevolution und Stalinismus* (Köln, 1996).
- 3 Fitzpatrick S. *Tear off the Masks! Identity and Imposture in Twentieth-Century Russia* (Princeton, 2005).
- 4 Hellbeck J. 'Speaking Out: Languages of Affirmation and Dissent in Stalinist Russia', *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, 2000, Vol. 1, no. 1.
- 5 *Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte*, Ed. W. Schulze (Berlin, 1996).
- 6 *Räume des Selbst: Selbstzeugnisforschung transkulturell*, Eds. A. Bähr, P. Burschel, G. Jancke (Köln, 2007).

- 7 *Mapping the «I»: Research on Self-Narratives in Germany and Switzerland*, Eds. C. Ulbrich, K. v. Greyerz, L. Heiligensetzer (Leiden, 2014).
- 8 Hellbeck J. 'Povednevnaia ideologija: zhizn pri stalinizme', *Neprikosnovennyj zapas*, 2010, no. 4 (72).
- 9 Hooper C. 'Trust in Terror? The Search for a Foolproof Science of Soviet Personnel', *Slavonic and East European Review*, Vol. 91, 2013, no. 1, January.
- 10 Kozlova N. N., Sandomirskaya I. I. «Ja tak hochu nazvat' kino». «Naivnoe pismo»: opyt lingvo-sociologicheskogo chtenija (Moscow, 1996).
- 11 Livshin A. Ya., Orlov I. B. 'Revoljucija i socialnaja spravedlivost: ozhidaniya i realnost («Pisma vo vlast» 1917–1927 godov), *Cahiers du Monde russe*, 1998, no. 39 (4), Octobre — decembre.
- 12 Livshin A. Ya., Orlov I. B. *Vlast i obshhestvo: Dialog v pismakh* (Moscow, 2002).
- 13 Livshin A. Ya. *Nastroenija i politicheskie emocii v Sovetskoj Rossii: 1917–1932 gg.* (Moscow, 2010).
- 14 Fitzpatrick S. 'Supplicants and Citizens: Public Letter-Writing in Soviet Russia in the 1930s', *Slavic Review*, Vol. 55, 1996, no. 1.
- 15 Davies S. 'The Cult of the «Vozhd»: Representations in Letters from 1934 to 1941', *Russian History*, 1997, no. 1–2.
- 16 *Self and Story in Russian History*, Ed. L. Engelstein (New York, 2000).
- 17 *Autobiographical Practices in Russia*, Eds. J. Hellbeck, K. Heller (Göttingen, 2004).
- 18 *Rewriting the Self: Histories from the Renaissance to the Present*, Ed. Roy Porter (London — New York, 1997).
- 19 Kravchenko A. '«Bolshe pisat ne khochetsja»: bolshoj terror i deti repressirovannykh. Opyt rassmotrenija dnevnikov dvukh junykh komsomol'tcev', *Laboratorium*, Vol. 7, 2015, no. 1.
- 20 Pocheptzov V. '«Kolymskoe zemljachestvo»: problema formirovanija identichnosti politicheskikh zakljuchennykh (na materiale memuarov Zoi Dmitrievny Marchenko)', *Laboratorium*, Vol. 7, 2015, no. 1.
- 21 Kotkin S. *Magnetic Mountain: Stalinism as Civilization* (Berkeley, 1995).
- 22 Uhl K. '«Oppressed and Brainwashed Soviet Subject» or «Prisoners of the Soviet Self»? Recent Conceptions of Soviet Subjectivity', *Bylye Gody*, 2013, no. 28 (2).
- 23 Halfin I. *From Darkness to Light: Class, Consciousness, and Salvation in Revolutionary Russia* (Pittsburgh, 2000).
- 24 Hellbeck J. *Revolution on my mind: Writing a Diary under Stalin* (Cambridge, 2006).
- 25 'Interview s Igalom Halfinym i Johanom Hellbekom', *Ab Imperio*, 2002, no. 3.
- 26 Tikhomirov A. 'The Regime of Forced Trust: Making and Breaking of Emotional Bonds Between People and State in Soviet Russia, 1917–1941', *Slavonic and East European Review*, Vol. 91, 2013, no. 1, January.
- 27 Hosking G. *Trust: A History* (Oxford, 2014).
- 28 Livshin A. 'Bridging the Gap: Government-Society Dialogue via Letters', *Slavonic and East European Review*, Vol. 91, 2013, no. 1, January.
- 29 Nérard F.-X. *Pjat procentov pravdy: razoblachenie i donositelstvo v stalinskom SSSR (1928–1941)* (Moscow, 2011).
- 30 *Obshhestvo i vlast. Rossijskaja provincija*, Vol. 1: 1917 — seredina 30-kh godov (Moscow, 2002).
- 31 *Istorija kommunisticheskoi partii Sovetskogo Sojuza*, Ed. A. B. Bezborodov (Moscow, 2014).
- 32 Yarov S. V. *Chelovek pered licom vlasti. 1917–1920-e gg.* (Moscow, 2014).
- 33 Kaganovsky L. 'Visual Pleasure in Stalinist Cinema. Ivan Pyriev's *The Party Card*' in *Everyday Life in Early Soviet Russia. Taking the Revolution Inside*, Eds. C. Kiaer, E. Naiman (Bloomington, 2006).
- 34 Studer B., Unfried B. *Der stalinistische Parteikader: identitätsstiftende Praktiken und Diskurse in der Sowjetunion der Dreißiger Jahre* (Köln, 2001).
- 35 *Svod avtobiografij i avtorizovannykh biografij dejatelej SSSR i Oktjabr'skoj revoljucii*, Vol. 41, Parts 1–3 (M., 1927–1929).
- 36 Volkov V. '«The Concept of Kulturnost»: Notes on the Stalinist Civilizing Process' in *Stalinism: New Directions*, Ed. S. Fitzpatrick (London, 1999).
- 37 Halfin I. *Red Autobiographies: Initiating the Bolshevik Self* (Seattle — Washington, 2011).
- 38 Hunt L. *The Family Romance of the French Revolution* (London, 1992).
- 39 Hellbeck J. 'Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubnyi (1931–1939)', *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, Vol. 44, 1996.
- 40 Hunt L. 'The Self and Its History', *American Historical Review*, 2014, December.
- 41 Orlovsky D. T. 'Political Clientelism in Russia: the Historical Perspective' in *Leadership Selection and Patron-Client Relations in the USSR and Yugoslavia*, Eds. T. H. Rigby, B. Harasymiw (London, 1983).

- 42 Ransel D.L. 'Character and Style of Patron-Client Relations in Russia' in *Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit*, Ed. A. Maçzak (Munich, 1988).
- 43 Afanasiev M. N. *Klientelizm i rossijskaja gosudarstvennost* (Moscow, 1997).
- 44 Fitzpatrick S. 'Intelligentsia and Power: Client-Patron Relations in Stalin's Russia' in *Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Neue Wege der Forschung*, ed. M. Hildermeier (Munich, 1998).
- 45 Hosking G. 'Patronage and the Russian State', *Slavonic and East European Review*, Vol. 78, 2000, no. 2.
- 46 Baberowski J. 'Vertrauen durch Anwesenheit: Vormoderne Herrschaft im späten Zarenreich' in *Imperiale Herrschaft in der Provinz. Repräsentationen politischer Macht im späten Zarenreich*, Ed. J. Baberowski (Frankfurt, 2008).
- 47 Schattenberg S. *Die korrupte Provinz? Russische Beamte im 19. Jahrhundert* (Frankfurt, 2008).
- 48 Krom M. 'Formen der Patronage in Russland des 16. und 17. Jahrhunderts: Perspektiven der vergleichenden Forschung im europäischen Kontext' *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, Vol. 57, 2009, no. 3.
- 49 Hellbeck J. 'Galaxy of Black Stars: The Power of Soviet Biography', *American Historical Review*, Vol. 114, 2009, no. 3.
- 50 Tyazhelnikova V. S. 'Samoubijstva kommunistov v 1920-e gg.', *Otechestvennaja istorija*, 1998, no. 6.
- 51 Pinnow K. *Lost to the Collective. Suicide and the Promise of Soviet Socialism, 1921–1929* (Ithaca, 2010).
- 52 Morrissey S. K. *Suicide and the Body Politic in Imperial Russia* (Cambridge, 2006).
- 53 Fitzpatrick S. *Povsednevnyj stalinizm. Socialnaja istorija Sovetskoi Rossii v 30-e gg.: gorod* (Moscow, 2001).